

* * *

Я помню, мама, ночь разлива
с огнями станций в глубине...

Твои глаза, как ветки ивы,
росой проплакали по мне.

Я помню запахи, и речи,
и до разъезда тракт прямой,
твой плат, накинутый на плечи,
на плате – чернь с простой каймой.

Опять мы вместе – и без сна я...

Но как тревожно мне взростеть!

Позволь мне, милая, родная,
твою ладонь в моей согреть.

Не виделись мы долго, мама,
я письма слал, я так скучал!
Сто раз читал я телеграмму
и с ней зарю вчера встречал...

А робкий месяц через раму
льёт тонкий свет на нас двоих.

Я ничего не знаю, мама,
роднее чутких рук твоих.

Они теплом меня дарили,
учили сердцу и уму.
Они, они меня кормили
в краю чужом, в чужом дому.

Они сжимали расстоянья,
снимали боль, давали пить...

Но, обречённый расставанью,
тоски не мог я утолить.

Ты так по-доброму красива,
так по-хорошему горда,
что кажется порой: Россия,
как ты – вечна, как ты – седа...

УТРО В ДЕРЕВНЕ

Самолёт позолоченной бритвой
перерезал окошко моё.

За окном – воробьиная битва,
крест полёта... поёт самолёт...

Вянет в банке букет полевой...

И такое волнение, братцы,
словно в небо нырнул с головой,
а до дна – ну, никак не добраться!

ВСЁ ЖИВОЕ

Дождь пробежал – грибной, несчастый.
Играет пескарями брод,
и, как овец печальный пастырь,
пасёт три тучи небосвод...

Я в лес нырнул, я стал невидим – зелень!
Кромсает небо пахарь-самолёт...
Встаёт заря – как петушиный гребень,
и самолёт – как клюв, её клюёт!

* * *

Весёлых песен мало,
а грустных – не унять.
Наверно, что-то стало
в народе убывать...

В озёрах глаз опальных
высоты неба злы,
и кажутся мне сталью
древесные стволы.

И листопад кровав их,
штыки кустов – остры...
Сжигали часто правых
русские костры.

С поникшей головою
бреду я наугад
и чую за собою
ольхи тяжёлый чад.
Весёлых песен – в меру,
а грустных – не унять...
Незримо стала вера
в народе убывать.

ПОБЕГ

Средь бела дня цыганит мне сорока,
и опроретью мчатся поезда.
Стрясётся вдруг: всё брошу я до срока,
уюду вдаль, уеду навсегда!

На кой мне ляд простор России нашей,
и грубость нежная хмельных моих друзей,
собак голодных стаи, и шабашки,
и мавзолей, и Ленина музей...

Люфтганза, Боинг, Шонфельд... таможня.
Потом – иноязычья маета.
У немцев всё изысканно, но сложно:
кладбищенская душит чистота.

И за неделю – вдруг предельно ясно:
в чужом дому и брага не сытна.
И от себя не убежишь, напрасно!..
Калина горькая – чужая сторона!

Проснусь в ночи – помятый, некрасивый,
такой, как есть, каким останусь впредь...
И вновь пойму, что я люблю Россию,
в которой счастье – жить и умереть.

* * *

Хоровод дождевой облаков,
и стоят тополя, как колонны.
Из безвременья – в омут веков
поднимают свой гомон вороны...

Всё спешешь от забот до забот,
как прожить каждый день – не чаешь.
Мчится молодость – поезд тот,
на который всегда опоздаешь.

За заботами сердце червит...
Но удержит меня, бедолагу,
коренная система любви
да к земле крестьянская тяга.

* * *

Сенокос, сенокос!
Земляничник берёз,
вот и ящерка – золотом кожаца...
Сенокос, сенокос...
Не задеть бы стрекоз,
да птенцов желторотых – множество!

И откуда он,
«сторожок»: не убий! –
он откуда?
Усталости наперечь,
я рисую серпом –
росный след голубик,
и толчётся мошка,
точно наволочь.

Вновь гнездо! Обойду, окошу, сберегу –
словно сердце родное в повýлике...
Приготовлю сторожку, как душу свою,
травянистый душистый навильник.

* * *

Сентябрь, как крепкий тёрн на ветке,
созрел в замшелый день.
На гумнах ссорятся соседки,
а в сердце – сон и лень...

И ветер носит пух в навозе,
в хвосты толкает кур.
И гаснет солнце на морозе,
а луч его – что твой шампур!

Вот он пронзил подворье остро –
в застреху, в щель...
Летает пыль, соломы остье,
в луче от искр – метель!

Лежу в сенáх на сеновале –
и жизнь люблю.
И за бытийность эту в теле –
благодарю!

* * *

Мы разные, а путь у всех один:
еловая постель,
рубаха мха да шишки.
И, сколько огород ни городи,
все помыслы – в достатке да в сынишке...

Дни чередой проходят неизменно,
пуховым снегом дума шелестит...
Ты не один, поверь,
теперь в окно глядишь,
на колченогий стул склонив колено.